

Душеполезное чтение на лето

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ И БАБУШКИ

Сборник рассказов

9+

Душеполезное чтение на лето

Коллектив авторов

**В гостях у дедушки и
бабушки. Сборник рассказов**

«Никея»

2018

Коллектив авторов

В гостях у дедушки и бабушки. Сборник рассказов / Коллектив авторов — «Никея», 2018 — (Душеполезное чтение на лето)

ISBN 978-5-91761-873-9

Накануне летних каникул родители задумываются, что выбрать для детского православного чтения: как сделать чтение на отдыхе душеполезным? В этой книге собраны рассказы русских писателей о летних приключениях детей, пройдя через которые маленькие герои приобретают немалый духовный опыт. Это захватывающее чтение для всей семьи, ведь взрослые тоже были детьми и когда-то впервые открывали мир Божий.

ISBN 978-5-91761-873-9

© Коллектив авторов, 2018

© Никея, 2018

Содержание

Лидия Авилова	6
Дневник С. Синичкина	6
«Камардин»	12
Василий Никифоров-Волгин	18
Любовь – книга Божия	18
Земля – именинница	22
Яблоки	26
Певчий	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

В гостях у дедушки и бабушки

© ООО ТД «Никея», 2018

* * *

Лидия Авилова

Дневник С. Синичкина



5-го июня

Я теперь буду писать дневник. Это делает мой друг Сергей Иванов, а всё, что он делает, – прекрасно.

Сергею Иванову 17 лет, а мне только 12, но тем не менее он мне друг, хотя и позволяет себе называть меня моськой, подразумевая, конечно, что он ни более ни менее – как слон.

Однако я опять обыграл его в шашки. Sic transit...¹

Мать уважаемого мной Сергея Иванова приходится мне какой-то тёткой. Ах, тётенька! Мое нижайшее почтение! Я вам преданнейший слуга! Конечно, я очень обязан вам, что вы взяли меня на всё лето к себе в деревню, но вы могли бы быть более интеллектуально-эстетичны. Я сейчас же заметил, что вы не имеете никакого понятия об импрессионизме и что вас гораздо больше занимает счёт снесённых вашими курочками яиц и кринок парного молока.

Замечание философа: женщины – жалкие материалистки.

Ознакомился здесь с двумя кузинами.

О, они божественны! Людмиле 14 лет, и, кажется, она воображает, что я должен перед ней преклоняться. Другой – 9 лет, и её зовут Оля. Как только я взгляну на неё, она начинает хохотать. Должно быть, очень умная особа. Конечно, я ноль внимания.

Но, в общем, мне здесь нравится. Сад.

Речонка. Мой друг, Сергей Иванов, обещал мне «приобщить меня к душе природы». Хорошо бы поиграть в чижа...

11-го июня

¹ Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава (лат.).

Почти целую неделю не записал ни строчки. Кажется, моё состояние называется «духовной аборацией»². (Спросить Сергея.)

В пансионе кормили плохо, а здесь пироги, пышки, пирожное. Много всякой вкуснятины.

Ходили с моим другом Сергеем Ивановым ловить раков. Ни одного не видели и не поймали. Я случайно поскользнулся и упал в воду. Закон притяжения, но тётушка осталась недовольна. На чердаке можно ловить голубей прямо руками, только пойти в сумерки, когда им уже хочется спать. Там через слуховое окно легко попасть на крышу. Но это не так высоко. Интереснее лазить по деревьям. Один раз я чуть не сорвался с самой вершины старой берёзы, но, слава Богу, совсем разорвал штаны и обжог руки.

Людмила, кажется, со мной кокетничает.

Когда я сижу у окна моей комнаты, она ходит мимо и делает вид, что меня не замечает. Ах, как вы прекрасны!

Оля не так уж глупа, как я прежде думал.

Я ей выстроил из песку прекрасную крепость, и потом мы её взяли штурмом. Людмила вообразила, что я сам забавляюсь, и иронически улыбалась.

Замечание философа: самая умная девочка всё-таки глупа.

13-го июня

Мой друг Сергей Иванов открыл мне вчера большую тайну. Он совсем не сын своей матери, а его сестра совсем не его сестра. Он просто «существо». Ему надо было жить где-нибудь и избрать какой-нибудь образ – и поэтому он стал Сергеем Ивановым, но он не человек только, а в нём соединилось всё существующее: человеческое, звериное, птичье, растительное... Поэтому он видит, и слышит, и понимает многое, чего больше никто не видит и не понимает. Признаюсь, он меня поразил.

Мы лежали в траве у ручья, и было уже темно. Он мне вдруг сказал:

– Ах, прости, пожалуйста, я забыл, что мне надо поговорить с кошкой. Кажется, я назначил ей прийти именно теперь. Удивляюсь, почему её ещё нет.

Я думал, он шутит, но он озабоченно встал и поглядел на свои часы. Лицо его стало очень строго, и вдруг он сгорбился и постарел.

В эту минуту я оглянулся и увидел, что за моей спиной крадётся кошка. По правде сказать, мне стало жутко.

– Кошка! – закричал я Сергею и, совсем не знаю зачем, вскочил и побежал.

Но около сада я остановился и ясно слышал, как Сергей и кошка долго мяукали в траве. Потом Сергей встал и пошёл ко мне. Лицо у него было как всегда.

– Ты испугался? – спросил он.

– Я всегда был нервный, – сказал я, – теперь я понимаю, что ты раньше видел кошку и нарочно сказал, что ждёшь её.

Но Сергей вдруг вздрогнул и стал прислушиваться.

– Ах, как это неудачно, что ты сегодня со мной! – тревожно сказал он. – Вот с дергачом случилась какая-то беда, и он кричит такие глупости, что, наверно, переполошит всех птиц, а малиновка сегодня не совсем здорова. Стой здесь, а я сбегаю и уйму его.

Он побежал, и дергач скоро перестал кричать.

И вот, когда Сергей вернулся, мы опять сели в траву, и он открыл мне свою тайну.

– Я – «существо», – сказал он. – Неужели ты до сих пор не догадывался? В мою душу вошли части душ всего существующего...

Потом он низко нагнулся к земле и засмеялся.

– Ах, прости, милая кашка, – сказал он и поцеловал красный цветочек. – Я не заметил, что примял тебя, не сердись!

² *Абerrация* – отклонение от истины, заблуждение (аборация – *искаж.* от лат. aberratio).

Не может быть, чтобы он меня обманывал!

Но когда я сегодня днём спросил его на ухо:

– Правда, что ты – «существо»? – он коротко ответил мне:

– Брысь!

Да! Я теперь верю: он – «существо».

15-го июня

Мне совершенно всё равно. Пусть она отправляет меня назад в пансион. Кажется, я не умолял её жить у неё в деревне. Я поехал потому, что меня пригласили, и потому, что Сергей Иванов – мой друг. Кроме того, если бы её самое отдали бы в такой прекрасный пансион, где вместо супа подают какие-то сомнительные помои...

Но пусть она меня отправляет!

Из-за какого-то костёрника! Что ж, что мы его немножко полили керосином? Есть о чём толковать!

Я себе спалил руку, а Оля только испугалась. Все девочки трусливы.

А какие изящные выражения у моей уважаемой тётушки!

– У тебя кочан капусты, вместо головы... Прекрасная Людмила иронически улыбнулась. Но я ей доказал, какой у меня кочан капусты.

Когда она величественно улеглась в гамак с книжкой, я сперва немного покачал её, а потом – чик! Верёвку ножичком...

Ничего! Гамак не высоко. И всё равно я последний день в этом доме. Правда, есть ещё надежда, что мой друг заступится за меня и упросит, чтобы меня не отправляли. В пансион!.. Бррр... Но тётушка сказала, что я ей слишком надоел. Отправят или не отправят?

Сергея с утра нет дома, но к ночи он, верно, вернётся. Не уехал ли он по «своим» делам?

Замечание философа: если живёшь в чужом доме, уезжай с достоинством, когда гонят.

16-го июня

Людмила тоже не имеет ни малейшего понятия об импрессионизме. Когда это стало ясно, она покраснела. Я очень рад.

Сергей назвал её «прекрасно-глупый цветок», а она вздёрнула нос и обдала нас презрением. Конечно, не поняла.

Оля пронюхала, что у нас с Сергеем тайна, и теперь не отстаёт от меня: «Скажи, скажи!» Когда я спрашиваю что-нибудь, она отвечает:

– А скажи! – и дразнится языком.

Когда я её зову куда-нибудь, она закладывает руки назад, топает ногой и опять говорит:

– А скажи! А скажи!

Спрятала свой мячик и не даёт.

– А скажи!

По правде сказать, днём мне кажется, что вся эта «тайна» – шутка моего доброго друга Сергея Иванова, но вечером мне делается жутко, и тогда я уверен, что это не шутка.

Вчера он прибежал ко мне в комнату страшно испуганный. Бросился на кресло и закрыл голову руками.

– Сенька, закрой скорей окно! Я больше не могу. Если бы ты слышал, что они говорят!

Если бы он обманывал, почему бы он дрожал?

Я закрыл окна и даже спустил шторы.

– Ох, как я испугался! – сказал Сергей. – Ты не знаешь, как страшно всё слышать и всё понимать. Я сейчас сидел в саду, и деревья рассказывали мне, из чего они выросли, какими соками они питаются. Они говорят, что высосали в себя воспоминания сотен лет. Надо говорить их языком, чтобы передать так просто и так страшно.

Ты думаешь, здесь всегда был сад, а в саду пели птички и гуляли дети? Но гораздо, гораздо раньше, чем выросли эти деревья, сколько жизней здесь погибло! Сколько было ужа-

сов, преступлений. Я предполагаю, что здесь когда-нибудь было поле битвы. Когда-нибудь очень давно. Они неясно выражаются. Дуб сказал мне, что он вырастает только на жестокости. Берёза – только на слезах. Осина – на ужасе. Ах, Сенька! Ты не знаешь, что такое деревья! Они кажутся красивыми, а они ужасны. Корни их слишком глубоки, слишком глубоки... Ты думаешь, что это свежий лист, а в нём трепещет какое-нибудь воспоминание, за десяток, за сотню лет.

Я просил его рассказать что-нибудь, о чём ему говорили деревья, но он опять схватился за голову и задрожал:

– Нет, нет! Ни за что! Я сам хочу забыть.

Это слишком ужасно!

Ночью я кричал во сне, и тётя пришла ко мне со свечкой.

Она вообразила, что я чего-то боюсь.

Я ничуть не боялся. С чего она взяла? Мне просто больше не хотелось спать, и я попросил её посидеть на моей кровати. Я заметил, что она любит воображать, что я ещё маленький. Конечно, это только смешно. Она и ночью мне говорила:

– Маленький ты ещё. Глупый. Нервишки у тебя слабые. Ах, Сенюшка, если бы ты не так шалил! Вот ты обиделся, что я тебя в пансион отправить хотела. Положим, я и не хотела... Да хоть бы ты себя-то пожалел! Ведь прямо страшно – ты либо разобьёшься, либо искалечишься.

Хотя моя тётя и материалистка, но она ничего – славная.

18-го июня

Бояться грозы совсем не позорно. Я знаю очень сильных и храбрых мужчин, которые всё-таки боятся. Ну что ж, что я сидел в коридоре на сундуке? Ведь никто же не скажет, что Ольгушка смелей меня? Но она грозы не боится, а я боюсь. И если Людмиле смешно, то очень рад. Но уж и злится она, когда я при ней говорю «прекрасно-глупый цветок».

Она так остроумна, что отвечает всегда одно и то же:

– Отстань ты от меня со своими глупостями! Сергей выдумает, а ты повторяешь.

Она воображает, что это Сергей «выдумал»!

Тогда я злю её дальше. Что-нибудь в этом роде:

– Людмилочка, какая разница между телёнком и телятиной?

Она фыркнет и иронически улыбается.

– Что ж, я не знаю, что ли?

– Ну какая, скажи?

– Телёнок живой, а телятину едят.

– Значит, если телёнка зарезать, от него ничего не останется?

– Останется... телятина.

– А куда же денется телёнок?

– Да ведь его зарезали!

– Значит, от него ничего не осталось?

– Остался мёртвый телёнок.

– Но ведь ты сказала, что телёнок бывает только живой?

– Я сказала, что телятина бывает только мёртвая.

– Значит, ты не знаешь разницы между телёнком и телятиной?

– Я отлично знаю, а ты глуп. Иди, поиграй в песочек с Олюшкой.

– А ты что ушибла, когда шлёпнулась с гамаком?

Этого намёка она уже совсем не выносит.

– Дурак!

– Импрессионизм! – кричу я ей на прощание. Ну, пусть смеётся надо мной, что я боюсь грозы.

19-го июня

В цветнике много анютиных глазок. Есть задумчивые, есть весёлые, есть ласковые и есть такие злые, что на них глядеть неприятно. В особенности маленькие жёлтые, с чёрными пятнышками. Сергей говорит, что они постоянно говорят всем неприятности и что бабочки их боятся. Они слишком слабы, чтобы делать зло, но их дурное настроение заразительно. Соседние цветы часто жалуются Сергею, что они им ужасно надоедают. Там расцвела маргариточка, скоро её свадьба, а злые анютины глазки над ней смеются и изводят её так, что она боится подурнеть. Левкой, оказывается, очень глупы, а розы сентиментальны.

Олюшка подслушала наш разговор и, по своему обыкновению, начала хохотать. Сергей сказал, что слышал, как горlinkа жаловалась, что у неё сова унесла одного птенчика, самого любимого из всех. Что тут смешного? А она сейчас же выдумала:

– А я слышала, как синичка просила водички.

И уж так хохотала и столько раз повторяла, точно страшно умно. Глупо!

20-го июня

Как нарочно, столько гроз в этом году! Я спрашивал Сергея, что говорят деревья во время грозы? Он очень строго взглянул на меня и сказал:

– Не спрашивай никогда! Это не все могут вынести. Благодарю судьбу, что ты не понимаешь!

– Но почему же ты выносишь?

Он вдруг сгорбился и стал старым и строгим.

– Ты забыл, что я – «существо»? Когда-нибудь ты ещё увидишь меня не таким, каким привык видеть...

Больше ничего он не захотел сказать.

Но я ему не верю! Наверно, он всё выдумывает, потому что думает, что я верю, и потому что я волнуюсь. На лугу я испугался кошки. В другой раз он как-то собрал вокруг своей головы летучих мышей. Ну, как-нибудь собрал. Я не знаю как. Он закричал, чтобы я пришёл его спасать. Правда, над ним летали мыши, а он свистел хлыстиком и отгонял их. Вероятно, он притворился очень испуганным. Когда я прибежал, он бросил хлыстик, и мыши улетели.

– Я ничего для них сделать не могу, а они сердятся на меня и грозят. Хорошо, что ты меня спас. Но берегись, как бы они не стали мстить и тебе!

Я, конечно, не поверил. Но как он мог собрать столько мышей? И почему они не улетали, когда он от них отбивался? Ведь это я сам видел.

В пансионе нас в одной комнате спало пять человек. Это, конечно, не значит, что я боюсь спать один. Но, наверно, сегодня ночью будет гроза. И вдруг Сергей придёт ко мне «не таким»...

Я всегда был нервный. Я не виноват!

Никто не смеет сказать, что я трус, потому что я буду драться с кем угодно! Я могу драться и кусаться – и всегда увернусь. Но мне просто неприятно, что Сергей говорит с кошками, собирает мышей и рассказывает глупости. Я не хочу, чтобы он пришёл ко мне «не таким», если даже это нарочно. И мне тоже очень неприятно, что будет гроза.

Может быть, я тоже простудился, когда мы строили плотину через ручей... Моя мама умерла...

21-го июня

Мой почтенный друг Сергей Иванов вообразил, что я так и поверил, что он – «существо»! Как же! Нашёл дурака! Ни капельки, конечно, не верил. И что же тут страшного? Я его так же надул, как он меня. Он притворился, что он – «существо», а я притворялся, что я верю. Если я опять кричал ночью и даже прибежал к тётке в спальню, то просто потому, что у меня была лихорадка. По этому случаю тётка угостила меня сегодня очень вкусной вещью: целой большой ложкой касторки в маленькой чашке с чёрным кофе. Очень благодарен!

Отвертеться не было никакой возможности.

– Меньше будет шалить и верить во всякую ерунду.

Логика женщины!

Людмила иронически улыбалась.

Следовало бы доказать тётушке, что она ошибается... Ладно! Мы ещё об этом подумаем.

Вечером пойду к старой беседке и буду свистеть хлыстиком над головой. Тогда прилетят мыши. Сергей говорит, что это иногда удаётся, а иногда не удаётся.

Когда я не хотел пить касторку, Ольгуш-ка глядела на меня с разинутым ртом, потом убежала. Где-то она раздобыла целую горсть изюму и сунула мне в руку.

– Выпил? Закуси!

Мы поделились.

Но она не любит, когда я сажаю в свою шляпу мелких лягушек и потом надеваю шляпу на голову. По её мнению – это «гадость». Напротив, очень приятно. Холодит.

Я слышал, как тётя говорила Сергею:

– Он не по летам развитой мальчик, но не забывай, что он ещё маленький. Надо стараться успокоить его нервы, а не расстраивать их ещё больше. Как это тебе пришло в голову выдумать это «существо»?

Но я всё-таки уважаю своего друга, Сергея Иванова. Для меня он даже останется «существо». Пусть он даже называет меня «моськой», я ни капельки не обижаюсь. Может быть, он скоро выдумает ещё что-нибудь и опять будет стараться обмануть меня? Хотя бы поскорей выдумал! Увидит, как я ни за что не поддамся.

А моя прекрасная кузина Людмила опять ходит под моим окном. Ах, скажите, пожалуйста, как вы интересны! Точно я не видал, когда вы вчера бегали на гигантских, что у вас протёрся чулок. Прекрасно видел! Нечего злорадствовать, что я будто бы поверил в «существо» и пил касторку.

Замечание философа: самые добрые родственницы часто подгаживают.



«Камардин»



Теперь мне отставка: ваш камардин приехал, – сказала горничная Клавдия и насмешливо улыбнулась.

Лёня привскочил на постели: – Мишка? Ура! Да ты врешь?

– Чего мне врать? В кухне сидит с рассвета.

Она забрала, перекинув на руку, одежду Лёни и, уже уходя, презрительно фыркнула:

– Камардин! Стоило такого выписывать.

– Клавдия, приведи его ко мне! Приведи сейчас! Ура! Мишка приехал!

Лёня завертелся кубарем в кровати, сбил простыни в комок и, не зная, что ещё предпринять от восторга, сперва кинул вверх свою подушку, а потом уткнулся в неё головой и, подбросив ноги, помахал ими в воздухе.

Мишка вошёл.

– Ура! – неистово закричал Лёня, барахтаясь в спутанных простынях, но Мишка даже не оглянулся на него.

Маленький, с белобрысыми вихрами, с худым, строгим лицом, в синей рубашке и больших валенках, он быстро окинул взглядом все четыре угла, перекрестился на календарь, почесал под рубашкой грудь и, вздёрнув плечи, отвернулся.

– Мишка! Да ты чего? Мишка! Да поди же ты сюда! – звал Лёня.

– У-у! Неотёса! – презрительно сказала Клавдия, проходя мимо него с ведром воды. – Вот завтра заставлю тебя и платье чистить, и комнату убирать.

Мишка недружелюбно покосился на неё, мягко шагая в валенках, подошёл к кровати и провёл пальцем по никелированному шару.

– Штука, – сказал он.

Лёня продолжал возиться.

– Ловко, что ты теперь у нас жить будешь! Мы с тобой... Нравится тебе у нас? Ты один приехал?

– Ну! Один! Дядя Василий ехал и меня взял. Тятка не хотел отпускать.

– А ты выпросился? Молодец!

– Ну! Я бы не поехал; да недород нынче, хлеба мало. Батько говорит: поезжай, всё одним ртом меньше.

Лёня засмеялся:

– Смешно: одним ртом меньше.

– Поди, я тебе покажу, как сапоги чистить, – пригласила Клавдия.

– А у меня и сапог нет, – сказал Мишка.

– Вот деревенщина-то! – возмутилась Клавдия. – Да разве я о твоих сапогах толкую? Очень они мне нужны! Лёнины-то кто теперь чистить будет?

– А кто? Сам, небось, – удивлённо сказал Мишка.

Клавдия расхохоталась:

– Камардин!

Она стала перечислять мальчику его будущие обязанности, а тот недоверчиво переводил взгляд своих хмурых глаз с горничной на Лёню, усмеялся и подёргивал плечами. Видно было, что он не верил ни одному слову Клавдии и думал, что она смеётся над ним.

– Небось, портки-то моют, а не чистят, – с уверенностью заявил он, – а избу бабы метут, а не мужики.

И так как шутки горничной всё-таки были ему неприятны, он повернулся к ней спиной, и в эту минуту в нём было столько гордого мужицкого достоинства, что Клавдии стало досадно и даже немного обидно. Она дёрнула его мимоходом за вихор и ушла.

Мишку водворили в чуланчике около кухни, купили ему длинные брюки и коротенькую курточку с блестящими пуговицами, вихры остригли, а вместо валенок дали штиблеты. Он преобразился так, что не узнавал самого себя, и, чтобы запечатлеть в памяти свой собственный образ, торчал перед зеркалом то в гостиной, то в будуаре.

– Вовсе это не твоя одежда, – сказала ему как-то Клавдия.

– А чья же?

– Чья? Господская. Тебя прогонят и одежду отнимут.

Он опять не поверил, но теперь так часто осуществлялось самое невероятное, что он перестал руководствоваться своим здравым смыслом, утратил всякую веру в своё знание жизни и собственный опыт, и, если бы Клавдия сказала ему что-нибудь ещё более несуразное, в его душе всё-таки зародилось бы беспокойство. Ведь не верил он, что Лёня не может сам почистить своих сапог и убрать комнату, а на деле оказалось, что это действительно так. Не верил, что, если ему станет жарко и он вздумает разуться и босым служить за столом, господа «обидятся». А они «обиделись». Другой раз барыня выгнала его из гостиной, потому что он уселся там в кресле, когда ему совсем нечего было делать. Он ей нисколько не мешал, так как она сама всегда садилась на другое кресло и её обычное место было свободно. Вздумалось ему как-то песню запеть, опять вышла неприятность: не позволили. Заикалось ему как-то, так кухарка его даже на лестницу вытолкала. Вообще, много было таких случаев, когда он совершенно не понимал, за что ему попадало и в чём была его вина. Его положение в доме через несколько дней показалось ему невыносимым, и так как определялось оно словом, которое постоянно говорила Клавдия, «камардин», то и это слово стало ему ненавистным.

– Тётенька! Я на улицу пойду поиграть, – сказал он как-то Клавдии.

– Какая я тебе тётенька? – накинулась на него горничная. – Можешь, кажется, сказать Клавдия Егоровна? И никакой тебе тут улицы нет. Не деревня. А ежели ты камардин, то ты не уличный мальчишка. Знай своё дело.

Миша уже чувствовал до глубины души, что быть камардином большое несчастье, и в этом несчастье утешала его отчасти только одна одежда, да и та, говорили, была господская, а не его собственная.

Немного сноснее жить было по вечерам и по праздникам, когда Лёня был дома и не учился.

Француженка, которую Миша звал «по-мазель», была приходящая и являлась в будни, когда Лёня возвращался из гимназии, а уходила после вечернего чая, в 8 часов. В праздники она совсем не показывалась.

Едва закрывалась за mademoiselle парадная дверь, как Лёня мчался по коридору и звал:

– Мишка! Где ты? Иди ко мне.

Миша выскакивал из кухни или из своего чуланчика, и Лёня сперва тут же шептал ему что-то, сопровождая свой шёпот энергичными жестами, а потом они оба шли в комнату Лёни и запирались.

– Ну как? – спрашивал Лёня, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

– А я почём знаю! – хмуро отвечал Миша.

– Ах ты какой! Ну, давай... давай испугаем Клавдию. Хорошо? Потушим в коридоре лампу, и как она пойдёт, так я на неё с сундука спрыгну, а ты ей под ноги...

– А кому достанется? Ишь ты!

– Вот трус! – возмущался Лёня. – Клавдии боится! Ну, давай что-нибудь другое.

– Всё равно заругаются, – мрачно пророчил Миша.

Лёня начинал сердиться:

– С тобой ничего не сделаешь. Мямля такая!

– Мямля! Я тебя за обедом так только чуть по затылку задел, а мне как напредило!

И тыкать тебя мне не приказано. Господам, говорят, «вы» надо говорить. Не ровня, значит, ты мне. А коли не ровня, так я и не хочу с тобой водиться.

Лёня чувствовал себя неловко, мигал глазами и оправдывался:

– Да разве я сказал, я? Ну, я?

– В деревне, небось: «Мишка, возьми с собой в ночное! Мишка, научи, как раков ловить! Мишка, дудочку вырежи! Мишка, покажи да подсоби». А здесь, вишь, барин стал?

– Да разве я сказал? Я? Ну, я? – кричал Лёня, краснея от досады и невольного чувства стыда.

Он помнил, что за обедом он не только не заступился за Мишку, но сам нашёл его поведение слишком развязным и неуместным.

Но Мише не хотелось ссориться. Не хотелось, главным образом, не из-за того, что ему скучно было возвращаться в свой чулан и сидеть там одному, и не из-за того, что Лёня убедил его в своей невинности, а просто потому, что всё-таки с Лёней, с глазу на глаз, он не чувствовал себя «камардином» и не мог не сознавать своего превосходства над ним, а это было ему приятно, а когда ему было приятно, он не мог сердиться и ссориться.

– Господа-то дома?

– Никого нет. В театре.

Мишка с облегчением вздохнул.

И тогда устраивалась игра в бабки, как называл Мишка кегли, причём Лёня всегда был позорно побеждаем. Устраивались ещё другие игры, требующие ловкости и быстроты движения, а Лёня огорчался, что Миша ни за что не хотел играть в «воображаемые» игры и даже не понимает, какое в этом может быть удовольствие. Ни за что не хотел Миша вообразить, что он индеец, или разбойник, или отважный мореплаватель.

– Мишка! Понимаешь: это лес, – толковал Лёня, – видишь, деревья... Вон там ручей, а здесь овраг. Я будто ранен и выползаю из оврага к ручью напиться.

Миша слушал, оглядывался и принимался смеяться:

– Вот так лес!

И когда Лёня входил в свою роль и начинал делать и говорить что-то непонятное, стараясь втянуть Мишу в мир своей фантазии, тот только хмурился и недоумевал.

– Что же ты не можешь себе представить, что это лес? – негодовал Лёня.
– Горница-то? – спрашивал Миша. – Ведь горница. Аль леса не видал?
Но в один вечер Миша отказался играть.

Лёня долго звал его и наконец, рассерженный, отыскал его в его каморке. Миша сидел на своей постели.

– Ты что же? Не слышишь, я тебя зову? – спросил Лёня.

Миша не ответил и только поднял на него серьёзный, строгий взгляд.

– Ты должен идти, когда я зову, – вспыхнул Лёня и топнул ногой.

– Ишь ты! Барин! – презрительно сказал Миша и усмехнулся.

– Ты дерзить? – закричал Лёня, не помня себя от досады. – Ты смеешь?

– Чего кричать пришёл? Уходи! – спокойно посоветовал Миша, но лицо его грозно нахмурилось, и глаза стали злыми и враждебными.

– Нет, ты не смеешь! – продолжал кричать Лёня. – Я маме пожалуюсь... Мне нужно, а ты не идёшь.

– Играть с тобой, небось, звал, – сказал Миша, – а я камардин, я играть не хочу.

– Отчего не хочешь? Вот ещё дурак!..

– Ну, потише! – сказал Миша и с таким горделивым достоинством поднял голову и повёл плечом, что Лёня с недоумением замолчал и отступил.

А Миша быстро опустился на колени, порылся под кроватью и, выдвинув оттуда свои валенки и какой-то узелок, стал торопливо разуваться.

– Зачем это ты? – с невольной робостью спросил Лёня. – Ты что это, Мишка? А?

– Вот тебе и камардин! – сказал Миша, сбрасывая с себя чужую одежду и доставая из узелка свою собственную. – Видал? Не хочу больше у вас жить. Уеду домой.

Лёня от удивления только разинул рот и молчал, а когда Миша, уже совсем переодетый, вдруг весело засмеялся, одёргивая на себе синюю рубашку, он бросился к нему и взял его за плечи.

– Помирился? – спросил он, заискивающе заглядывая ему в лицо.

– А мне что? – ответил Миша. – Я не серчаю.

– Нет, ты не уезжай, – умолял Лёня. – Ну что там? Не уедешь?

Миша нахмурился:

– Денег у меня нет. Не поедешь без денег. Да в валенках, небось, дойду. Ишь они, новые совсем. Добро!

– Да чего ты? Заблудишься! – ужаснулся Лёня. – Ты опять живи у нас. Живи! Ведь мы помирились.

– Домой хочу, – задумчиво сказал Миша и вздохнул.

– А сам говорил, у вас хлеба мало, – радостно вспомнил Лёня. – А у нас много. Ну? Вот тебе и нельзя домой!

Они посмотрели друг другу в глаза, и Лёня понял, что он прав, что Мишке некуда уехать и что всё останется по-старому. Он схватил его за руку и потащил играть.

С этого вечера Миша затосковал и стал упрямым и дерзким. Он стал отказываться делать то, что уже делал раньше, и когда Клавдия, показывая ему свою власть над ним, давала ему подзатыльник, он глядел на неё посветлевшими от злобы глазами и дрожал.

– Камардин! – издеваясь, говорила она.

И это слово звучало так обидно, что Мише было бы легче, если бы она ударила его по лицу.

Камардин – это означало какие-то узенькие рамочки, в которых не было места Мишкиному достоинству, его вкусам, его чувствам, его прежней жизни, его прежним понятиям, его положению среди других людей.

Камардин – это было какое-то кошмарное состояние: лёгкая работа, которую было обидно делать, хорошая пища, которую было стыдно есть; красивые, пустые горницы, в которых он не имел права сидеть.

Из-за того, что Мишка стал камардином, даже Лёнька, который прежде заискивал перед ним, теперь стал барином, требовал к себе уважения и как будто забыл о всех его превосходствах. «Камардина» била по затылку Клавдия, и всё это надо было терпеть и сносить.

И Мишка не снёс.

Один раз у Лёни были гости, все такие же маленькие гимназистики, как и он. Было очень шумно и весело: играли в разные игры, строили слона... Мише не предлагали принять участие в игре, но ему всё-таки было весело: он бегал взад и вперёд с разным угощением, стоял в дверях, смотрел и сочувствовал. Один раз он не вытерпел и громко крикнул что-то. Мать Лёни встала, подошла к нему и, тронув его пальцем в лоб, сказала:

– А тебе здесь не место. Придётся, когда позовут. Иди.

Он с удивлением взглянул на неё и ушёл.

Но Клавдия сейчас же послала его назад с тарелочками для фруктов. Лёниной матери в комнате уже не было, и он воспользовался этим, подошёл к Лёне и толкнул его локтем.

– Позови меня скорее играть, – попросил он.

Лёня не понял.

– Позови играть-то, – нетерпеливо повторил Миша. – Барыня сказала, что, пока не позовёшь, я бы не шёл.

– Нет, тебе сегодня совсем нельзя, – быстро сказал Лёня, настолько увлечённый игрой, что почти не думал о том, что говорил.

Вдруг кто-то из мальчиков опрокинул столик, на котором стояли сласти; фрукты и орехи рассыпались по полу.

– Мишка, подбери! – закричал Лёня.

– Миша, подбери! – повторила барыня, показываясь на шум.

– Это твой казачок? – спросил один мальчик.

Лёня засмеялся:

– Это мой камардин.

И вдруг все засмеялись, и, пока Миша ползал по полу и подбирал то, что уронили другие, мальчики смеялись и повторяли:

– Камардин! Камардин!

Когда гости уходили и надо было отыскивать калоши и помогать одеваться, Мишу не дозвались и не нашли, а потом про него забыли. А на другое утро Клавдия пожаловалась барыне, что Мишка дома не ночевал и что утром его привели из участка.

– Ведь осрамил нас, – говорила она. – Мне уже в лавочке смеялись. Ведь думают, что мы его бьём. Сбежал!

– Позови его! – с досадой пожимая плечами, сказала барыня.

Мишка вошёл. Бледный, осунувшийся, с строгим лицом, в своей синей рубашонке и больших валенках, он остановился среди комнаты и опустил голову.

– Где ты был? – спросила барыня.

– Дядю Василия искал, – мрачно ответил Миша.

– А ты знаешь, где он живёт?

– Нет, не знаю.

– Так как же ты, глупый? Зачем тебе его надо было ночью, этого дядю?

Миша ещё ниже опустил голову.

– Ну, зачем? Обидел тебя кто-нибудь? – спросила она и улыбнулась. – Как же тебя обидели? Кто?

– Я не хочу быть камардином! – вдруг с отчаянной решимостью сказал Миша. – Кто узнает, все смеются. Я лучше домой... пешком...

– Дурачок! – сказала барыня. – Все смеются, потому что такого слова даже нет. Понимаешь? Нет такого слова. Значит, ты не камардин и нечего обижаться.

Она засмеялась, а Миша недоверчиво взглянул на неё исподлобья.

– Ан есть, – попытался он поспорить.

– Камердинер – есть, – серьёзно сказала барыня, – но тебе им никогда не быть. Ну, не будешь теперь обижаться? Веришь мне?

Миша ничего не сказал, повернулся и убежал. И, быстро переодеваясь в своей каморке, он испытывал странное чувство: оказывалось, что даже нет и не было слова «камардин». Нет и не было того, что заставило его пережить столько унижения, страдания и горечи. Он так привык думать, что он несчастлив только потому, что он камардин; но, так как он не камардин, так почему же он несчастлив?

И, присев на свою постель, он задумался над этим неразрешимым для него вопросом.



Василий Никифоров-Волгин

Любовь – книга Божия



Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всём городе не найти. Был ещё Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в тухлявом бревенчатом доме – окнами на кладбище. Окраина славились пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишённым сана дьяконом Даниилом – сажённого роста и огромного голоса детиной.

Про Филиппку и Агапку здесь говорили: – Много видали озорных детушек, но таких ухарей ещё не доводилось!

Было им лет по девяти. Отец одного был тряпичник, а другого – переплётных дел мастер. Филиппка – маленький, коротконогий, пузатый, губы пяточком и с петушком на большой вихрастой голове. Всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах – одна штанина была синяя, а другая жёлтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своём наряде Филиппка зашёл как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал:

– Удивительно, Марья Димитриевна!

Агапка был тощим, в веснушках, зоркоглазым и вёртким. Зимой и летом ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке-бескозырке. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил:

– Не называй меня больше Агапкой!

– А как же прикажете вас величать? – насмешливо спросила та.

Агапка звякнул шпорами и лихо ответил: – Суворовым!

Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тётеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество.

Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной. Звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет:

– Дядя Михайло! У твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют!

Обожжённый ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой.

– Изменщица! – рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. – Где Сенька?

Та клянётся и крестится – ничего не ведаёт. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке – молодому сапожному подмастерью.

Выходит Сенька. Вздывается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди. В драку втирается городской и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чём.

– Я не антиресуюсь вашей супругой, – говорит он, – немислимое это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и карзубая...

От этих выражений кузнец опять наливается злобой:

– Моя жена – огурец? Моя жена карзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Ра-аз! У-у-х!

И опять начинается драка. Расстрига Даниил когда напивался, то настойчиво и зло искал чёрта, расспрашивая про него прохожих.

– Мне бы только найти, – гудел он, пробираясь вдоль заборов, – я бы в студень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти!

К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой:

– Дядюшка дьякон, ты кого ищешь?

– Чёрта, брат ситный, чёрта, который весь мир мутит! – в отчаянности вопиал дьякон. – Не видал ли ты его, ангельская душенька?

– Видал! Он недалеча здесь... Пойдём со мною, дядюшка дьякон... Я покажу тебе!

Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева.

– Он тут... в подвальчике... – потаённым шёпотом объяснял Филиппка.

Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в тёмное логовище ростовщика:

– Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!

Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу.

Из подвального помещения вылетал похожий на моль низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил.

– Держите Вельзевула! – грохотал он исступлённой медью страшного своего баса. – Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе Царство Небесное!

Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городского, и все становились весёлыми и как бы пьяными.

За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку.

Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой...

Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актёра Зорина, недавно поселившегося на окраине и на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актёр ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой.

Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотистую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо от чего вспыхнул весь, застыдился, вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на лёгкую птицу, летающую по синему поднебесью... Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал.

В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошёл к ней и солидно сказал:

– Меня зовут Филипп Васильевич!

– Очень приятно, – тростинкой прозвенела девочка, – а меня Надежда Борисовна... У тебя очень красивый костюм, как в театре...

Филиппка обрадовался и подтянул пёстрые штаны свои.

После этой встречи его душа стала сама не своя.

Он пришёл домой и попросил у матери мыла – помыться и причесать его. Та диву далась:

– С каких это пор?

Филиппка в сердцах ответил:

– Вас не спрашивают!

Вымытым и причёсанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок – высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели.

Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблоков, то семечек, а однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущённо и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности.

Два дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал:

– Хочу с тобою поговорить!

– Об чём речь? – спросил Филиппка, поджимая губы.

Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник.

– Видал?

– Вижу... десять копеек!

– Маленькая с виду монетка, – говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами, – а сколько на неё вкусностей всяких закупить можно. К примеру, на копейку конфет «Дюшес» две штуки, за две копейки большой маковый пряник...

– Во-о, вкусный-то, – не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза, – так во рту и тает. Лю-ю-блю!

– На три копейки халвы, на копейку стакан семечек, на две – калёных али китайских орешков, – продолжал Агапка, играя серебряком, как мячиком.

– Ну и что же дальше? – жадно спросил Филиппка, начиная сердиться.

Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как «Гуак, верный воин», про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник.

– Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу! Но только прошу тебя... – здесь голос Агапки дрогнул, – не ухаживай за Надей... Христом Богом молю! Согласен?

Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул:

– Согласен!

На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая.

Когда наелся он всяких сладостей, так что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался.

На другой день ему стыдно было выйти на улицу, он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть, и перед смертью попросить прощения у Нади, и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы!»

Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл.

И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?» Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание. «Драть будут... – подумал он, – но ничего, потерплю. Не привыкать!»

Филиппка вытащил из коробочки гривенник. Выбежал на улицу. Разыскал Агап-ку и сказал ему:

– Я раздумал! Получай свой гривенник обратно!



Земля – именинница



Берёзы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольёшься с колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пере-светная и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе трёх бело-ризных Ангелов шествует Святая Троица.

Накануне праздника мать сказала:

– Завтра земля – именинница!

– А почему именинница?

– А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдётся со святым Симоном Зилоном, а на Симона Зилона земля – именинница: по всей Руси мужики не пашут!

– Земля – именинница!

Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась.

Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и спросил их:

– Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на две копейки!

Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня (картинка такая у нас).

Отец не раз говорил, что приятели мои, Федька и Гришка, не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудрёную загадку. Они думали, думали и наконец признались со вздохом:

– Не можем. Скажи.

Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил:

– Завтра земля – именинница!

Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались.

– А это верно, – сказал серьёзный Федька, – земля в Троицу завсегда нарядная и весёлая, как именинница!

Ехидный Гришка добавил:

– Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталась!

Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул:

– Чего ревьешь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за берёзками!

Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть моё сердце. Я перестал плакать. Примирённый, схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за берёзками.

Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от предстоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, проживавших на нашем дворе:

Моя досада – не рассада:
Не рассадишь по грядам;
А моя кручина – не лучина:
Не сожжёшь по вечерам.

Нас остановил пузатый городской Гаврилыч и сказал:

– Эй вы, банда! Потихе!

В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами.

Повстречались нам в чаще дровосеки.

Один из них, борода что у лесовика, посмотрел на нас и сказал:

– Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, что трава...

Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом.

Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими берёзками, радость моя была затуманена.

Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку – сколько, мол, лет мы проживём.

Кукушка прокуковала Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне всего лишь два года.

От горькой обиды я упал на траву и заплакал:

– Не хочу помирать через два года!

Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда врёт. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично «допросить» кукушку.

Я повернул заплаканное лицо в её сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещь птицу:

– Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же на свете жить?

На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет. На душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то сто двадцать лет...

Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при вызоренных небесах, по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную берёзовую листву и одним сердцем чувствовали: как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница!

Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром, в образе солнечного предвосходя, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед иконами и шептала:

– Пресвятая Троица, спаси и сохрани...

Пахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи – утренники.

– Ты что, в такую рань? – шепнула мать. – Спал бы ещё.

Я деловито спросил её:

– С чем пироги?

– С рисом.

– А ещё с чем?

– С брусничным вареньем.

– А ещё с чем?

– Ни с чем.

– Маловато, – нахмурился я, – а вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня будет шесть пирогов и три каравая!

– За ними не гонись, сынок... Они богатые.

– Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется!

– Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка? – всплеснула мать руками. – Кто же из православных людей пироги ест до обедни?

– Петро Лександрыч, – ответил я, – он даже и в посту свинину лопаёт!

– Он, сынок, не православный, а фершал! – сказала мать про нашего соседа, фельдшера Филиппова. – Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне.

По земле имениннице солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и все говорили: быть грозе!

Ждал я её с тревожной, но приятной настороженностью – первый весенний гром!

Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида – прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку.

– На что тебе?

– Говорят, что сегодня громовый дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший! – сказала и заяснилась пунцовой зорью.

Я посмотрел на неё, как на золотую чашу во время литургии, и, заливаясь жарким румянцем, с восхищением и радостной болью воскликнул:

– У тебя лицо как у Ангела Хранителя!

Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то закрыл лицо руками.

Именины земли Церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени, а пол был устлан цветами и свежей травой.

Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зелёные разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: «Зелёным лугом пройдуся, на сине небо нагляжуся, алой зоренькой ворочуся!»

После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день батюшки и дьякона семи городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим голосом пел про Матерь Божию, идущую полями изусеянными и собирающую цветы, дабы украсить «живоносный гроб Сына Своего Возлюбленного».

Около Евдокима стояли бабы и, пригорюнившись, слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал: «Хорошо быть нищим! Сколько на эти деньги конфет можно купить!»

Отец мне дал пятак (и в этом тоже был праздник). Я купил себе на копейку боярского кваса, на копейку леденцов (четыре штуки) и на три копейки «пильсинного» мороженого. От него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку.

Мать утешала меня и говорила:

– Не брался бы, сынок, за городские сладости! От них всегда наказание и грех!

Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть. На кладбище мать посыпала могилку зёрнами – птицам на поминки, а потом служили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, «и жизнь безконечная», про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в берёзках. Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошёлся и пошёл гремучим «косохлёстом». От весёлого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором, и густо пахло берёзами.

Я стоял на крыльце и пел во всё горло:

Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на Иордан —
Богу молиться, Христу поклониться.

На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо своё первыми грозowymi дождинками. Радостными до слёз глазами я смотрел на неё и с замиранием сердца думал: «Когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь!» И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под дождём и вымочил до нитки свой новый праздничный костюм.



Яблоки



Дни лета наливались, как яблоки. К Преображению Господню они были созревшими и как бы закруглёнными. От земли и солнца шёл прохладный яблочный дух. В канун Преображения отец принёс большой мешок яблок... Чтобы пахло праздником, разложили их по всем столам, подоконникам и полкам. Семь отборных малиновых боровинок положили под иконы, на белый плат, – завтра понесём их святить в церковь. По деревенской заповеди, грех есть яблоки до освящения.

– Вся земля стоит на благословении Господнем, – объясняла мать, – в Вербную субботу Милосердый Спас благословляет вербу, на Троицу – берёзку, на Илью Пророка – рожь, на Преображение – яблоки и всякий другой плод. Есть особенные, Богом установленные сроки, когда благословляются огурцы, морковь, черника, земляника, малина, голубица, морошка, брусника, грибы, мёд и всякий другой дар Божий... Грех срывать плод до времени. Дай ему, голубчику, войти в силу, напитаться росой, землёй и солнышком, дождаться милосердного благословения на потребу человека!

В канун Преображения почти вся детвора города высыпала на базар, к весёлым яблочным рядам. Большие возы яблок привозили на пыльных телегах из деревень Гдовья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, яснызорчатые, осеннецветные, багровые, златоискрые, янтарные, сизые, белые, зелёные, с красными опоясками, в веснушках, с розовинкой, золотисто-прозрачные (инда зёрнышки просвечивают), большие, как держава в руке Господа Вседержителя, и маленькие, что на рождественскую ёлку вешают, – лежали они горками в сене, на рогожах, в соломе, в корзинах, в коробах, ящиках, в пестрядинных деревенских мешках, в кадушках и в особых липовых мерках.

Торговали весело и шумно, с хохотом и прибаутками. Яблоки заставляли улыбаться, двигаться, громко говорить, слегка озорничать, прыгать на одной ноге, размахивать руками, прицениваться и ничего не покупать. Нельзя было избавиться от неудержимой смешливости. Всё смешило – и бойкий чернобородый зубоскал мужик в розовой рубахе, стоящий на возу, как Пугачёв на Лобном месте, и насадно выкрикивающий: «А вот я-я-яблочки-красавчики!»; загаристая девка с большим кошелём через плечо, давшая наотмашь «леща» по спине мальчишки, стянувшего яблоко; выпивший дядя, рассыпавший яблоки прямо в базарную лужу.

Особенно смешил круглощёкий восьмилетний пузан, одной рукой показывающий на яблоки в телеге и спрашивающий торговца: «Почём?» – а другой рукой залезающий под солому.

Когда карманы его раздулись от наворованных яблок, он сказал торговцу: «Дороговато!» На воришку весело посматривал городской и грозил полицейским пальцем:

«Я тебя! Моли Бога, что я сегодня добрый». Кому-то угодили яблоком в затылок и крикнули: «С наступающим праздником!» Вихрастый мастеровой угощал девицу «сахарной коровкою». Сделав губы бантиком, она ответила: «До священья не вкушаю».

Под телегами спали, разиня рот, деревенские ребята – с тятками и мамками они всю ночь сопровождали яблочные возы в город. Я встретил Урку. Он грыз яблоко, и я сказал ему: – Разве можно есть неосвящённое? Грех ведь!

Урка тревожными глазами посмотрел на меня и ответил, как серьёзный ихний раввин: – У нас свой закон!

В чайной с вывеской «Зайди, приятель» сидели мужики, пили чай с ситником и говорили только о яблоках: сколько мер собрали, сколько пообтряс ветер, как их везли по дорогам, сколько взяли барыша и что-де Господь послал урожайный год, хорошую росу, дождь по времени, и теперича, мол, зима не страшит, всего вволю, а поэтому можно ещё сороковочку выпить!

Чтобы угодить мужикам, половой завёл органчик, но ему сказали:

– Поштенный! Нельзя ли повременить?

Успенский пост ещё не прошедши!

А кругом чайной дробный полновесный звук отмериваемых яблок, зазывы торговцев, ржанье лошадей, взвизги, смех, всплески голубиных и воробьиных стай, летающая паутина-предосенница, жаркое, но всё же замирающее солнце – оно тоже созрело, как яблоко, и скоро уляжется на покой до новой весны и нового созрева, и это пол-нозубое, весёлое, морозно-хрустящее слово «яблоки», раскатывающееся по всему базару и улицам!

– Ах, какое хорошее слово «яблоки»!

Лучше этого слова не сыщешь по всей поднебесной!

Вечером пошли ко всенощной. В церкви пели яблоками и мёдом пахнущий Преображенский тропарь: «Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху; да возсияет и нам, грешным, свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе».

Вечером, после ужина, меня заставили читать Евангелие о Преображении Господнем. Я читал по складам: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белы как снег».

Ночь была душной, с далёкими всполохами, с августовской, тихо шумящей тьмой.

От духоты в комнате я захотел снять с себя всю одежду, чтобы спать было повольготнее, но мать строго мне внушила:

– Никогда не спи нагишом, ибо сон – смерти брат, преддверие к Страшному Суду Господню. Надо быть всегда в готовности, одетым в дорогу...

При слове «дорога» она отвернулась к окну и как будто бы прослезилась.

Утром встали спозарань. На дворе желтела заря – ранница. Она сдувала с крыш последний сон. Зачинающийся день всё шире и шире раскрывал золотые свои врата, и не успел я насмотреться досыта на восходье, так редко мною виденное, как показалось в этих вратах солнце и зашагало по земле поступью Великого Государя, идущего от Светлой заутрени. Долго я думал, отчего солнце слилось у меня с шествием Великого Государя, виденного мной на какой-то картине, и не мог додуматься. Отец, вымытый и причёсанный, в жилетке поверх ситцевой рубахи и лакированных сапогах, ходил по комнате и напевал: «Преобразился еси на горе, Христе Боже».

– Преображение... Преображение... – повторял я. Как хорошо и по-песенному ладно подходит это слово к ширящемуся и расцветающему дню!

С белым узелком яблок пошли к обедне.

Всюду эти узелки, как куличичи на Пасху, заняли места в доме Божьем; и на ступеньках амвона, и на особых длинных столах, на подоконниках и даже на полу под иконами. Румяно и простодушно лежали они перед Богом – вошедшие в силу, напитавшиеся росой, землёй и солнышком, готовые пойти теперь на потребу человека и ждущие только Божьего благословения.

Во время пения «Преобразился еси» на амвон вынесли большую корзину с церковными яблоками. Над ними читали молитву и окропляли их святой водой. Когда подходили ко кресту, то священник каждому давал по освящённому яблоку. В течение целого дня на улицах слышен был сочный яблочный хруст.

Радостно и мирно завершился солнечный, яблочно-круглый день Преображения Господня.



Певчий



В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почётным. Здесь стояли городской голова, полицеймейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушается, хоть волоком его волочи! Почётные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти! Здесь всё видно!»

Во время всенощного бдения или литургии облокотиться на железную амвонную оградку, глядишь восхищёнными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они – приближённые Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепёшки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы...»

Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого – пьяницу и сквернословия, баса – торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, чёрствый хлеб и никогда не даёт конфет «на придачу». Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дублёное, сизое, как у похоронного факельщика.

В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!

Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчишки – совсем как Ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть! Однажды я заявил отцу с матерью:

– Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!

– Дело это, сынок, простое, – сказал отец, – сходи сёдни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изьяснись. Авось возьмут, если они про твоё озорство не слышаны!

– Верно, сынок, – поддакнула мать, – попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с перелив-цем, яблочный... И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя Ангел Божий!

В этот же день я пошёл к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».

– Войдите!

Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрый, помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал солёный съёженный огурец.

– Тебе что, чадо? – спросил меня каким-то густо-клейким голосом.

– Хочу быть певчим! – заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.

– Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе... Вот так. Ну, тyani за мною: «Царю Небесный, Утешителю...» Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошёлся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.

– Слух неважнецкий, – сказал он, – но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: «достоин».

Обожжённый радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:

– И кафтан можно надеть?

– Какой? – не понял регент. – Тришкин?

– Нет... которые певчие носят... эти голубые с золотыми кисточками...

Он махнул рукой и засмеялся:

– Надевай хоть два!

В этот день я ходил по радости и счастью.

Всем говорил с упоением:

– Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!

Кому-то сказал, перехватив через край:

– Приходите в воскресенье меня слушать!

Наступило воскресенье. Я пришёл в собор за час до обедни. Первым делом прошёл в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампы, спросил меня:

– Ты куда?

– За кафтаном! Меня в певчие выбрали!

– Эж тебе не терпится!

Я нашёл маленький кафтанчик и облачился.

Сторож опять на меня:

– Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час ещё!

– Ничего, я подожду.

Со страхом Божьим поднялся на клирос.

В десять часов зазвонили к обедне. Пришёл дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался:

– Ты что это в кафтане-то?

– Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!

– Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну что же, «пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареву нашему, пойте!».

Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости – вот-де, достиг! – а тонкая, мягкошелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня...

Пели «Верую во единого Бога Отца Вседержителя...». Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием.

Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего Символа веры... Когда певчие грянули: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь», – я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с её гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «а-а-минь»! В глазах моих помутилось. Я съёжился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным, шипящим хрипом простонал:

– Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!

Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нём и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня вывели с клироса.

Закрыв лицо руками, я шёл по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.